



ТАТЬЯНА
ЗАМИРОВСКАЯ

ЗЕМЛЯ
СЛУЧАЙНЫХ
ЧИСЕЛ



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Издательство
АСТ
Москва

СОДЕРЖАНИЕ

- Тот, кто грустит на Бликер-стрит 9
- Жемчужный сироп в оловянной чашке 19
- Земля случайных чисел 35
- Сад для игры в волка 60
- Тибетская книга полумертвых 80
- Мистер Светлая Сторона 102
- Лодочка 121
- Ваша Копия вам не верна 137
- Номер сто 151
- Чужие следы 163
- Электронная компартия мертвых 177
- Поправки 200
- Скажи «война» 218
- Сто тысяч жизней 242
- Don't Fear The Reaper 246
- Охота на птиц в подводном городе 271

Мир железного зайчика	292
Внутри кита пустота	311
Some were born to endless night	332
«Черны бусел»	354
Золотые окна в доме напротив	377
Внутри тебя в твое отсутствие	416
Тяжелее жизни	436



ТОТ, КТО ГРУСТИТ НА БЛИКЕР-СТРИТ

Любовь моя, я пишу тебе из сумасшедшей старухи, в которую я пришла поработать, как в старбакс. И там ровно такая же очередь: такая же долгая, как в старбакс, и такая же сумасшедшая, как старуха. Она часами сидит на скамейке на Абингдон-сквер в самом маленьком парке в городе и крошит голубей. Вокруг нее на подминающихся ножках скачет влажный хлеб, напитанный кровью и утробным воркованием. Это знание разрывает меня на липкие перья, будто я трепещущий голубь в ее пальцах, но без необязательного понимания данной пищевой инверсии или перверсии пребывание мое в старухе неполное, невозможное и ложное — лишь дрожь в правой ноге или похолодание хребта, а хребтом с моей задачей не справишься. Каждое утро я хожу в старуху, будто в писчий храм, и сегодня она у меня сделала успех, нараспев исчертив рекламную газетную

рябь марокканской вязью, — еще не почерк, но уже не одержимость неясностью, ненавижу быть неясностью, неясностью, ненастьем. Тут бы и остановиться: слабость, глоссолалия, аллитерация как тень иллитерации самой старухи (поверь, она сама удивлена открывшимся способностям; умение же рвать голубя на переливающиеся фрагменты свехталантом она почему-то не считает). Но это уже которая по счету попытка. До этого я пыталась писать тебе из собаки, будто из подводной лодки, но во всякой собаке я затопленный подводник, на ощупь пытающийся нацарапать успокоительное мироточение прощания, прощения, отмщения не на стене скорей, а на преграде или перегородке. Собака — плохой сосуд, пишу я тебе из сумасшедшей старухи невозможностью артикуляции плавсредства и ненавижу ее за эти лопнувшие сосуды в старческой ее голове, за эту мою таблеточную подъязычность, безъязычие, vessel, lesser. Тут стоп.

Ненастье, случившееся со мною пару недель назад. Счастье прочь. Тут разорвано. Точность: ровно четырнадцать дней, кому я лгу своей небрежной парой, если тот день теперь как татуировка поверх всего — тринадцатое сентября, день, которого нет в календарях.

Меня ударило дверью вагона, когда я вбегала в поезд метро, разобранная на части / взвинченная / хрупко-остроконечная, как очиненный архитекторский грифель, — точка, слом. Случилось то, что раньше снилось мне как невероятное и страшное — я поехала дальше в вагоне, а тело мое осталось лежать на платформе, ударившись о нее головой. Я успела подумать: желтые шары. Не знаю, почему я подумала про желтые шары. Да, это плохой жанр. Между собой и собой мы со мной

его, этот жанр, называли «Я умер, и всем теперь стыдно про это читать». По ту сторону этого жанра, выходит, желтые шары — последнее, с чем соприкоснулась моя голова до того, как отпустить меня посещать старбакс старухи с ее голубиным крошевом. А читатель у меня только один, и стыд ему неведом.

Дальше все было как было, я ничего не пропускаю, все помню. Вышла на ближайшей станции, побежала обратно. Скорая, все как положено: айфон прикладывают к большому пальцу правой руки, и я кричу им, не надо, прошу, не надо, там ложные контакты, но кто меня услышит? Лучше бы я сгорела. Тем более что человек, как правило, сгорает вместе с айфоном. Или таким, как мы со мной, некурящим параноикам необходимо носить с собой зажигалку, чтобы на случай, когда есть свободная минута до неминуемой смерти, потратить ее всю целиком на большой палец правой руки.

Потом тоже честно все: в больнице пришла в себя, но ничего не помнит, сидит в белом, как муляж прибрежной птицы. Ест, пьет, задает вопросы. Я сижу рядом. Как в нее вернуться, не понимаю. Рассказываю схематично. Важна точность. Тут будет четко, как камни выплевывать: вот уже выросла целая горка леденцовых мшистых гладышей.

Я навещаю ее регулярно, но сил никаких нет, и как ей стать, не представляю. Манеры вроде бы те, интонации узнаю, но как туда попасть, неясно: она отдельно. Гуляю много последнее время, тренируюсь, вот стала к бабке ходить, бабка отлично получается, как видишь, покорна мне, как внутриутробный стилус, которым я себя в некоторые моменты представляю, задумываясь о том, что и кто теперь я. Опять же, дети до двух

лет получают отлично, особенно бессловесные. Болтливые билингвы — обычно запертый гараж, за которым что-то надрывно пыхтит и вот-вот выломает стальную дверь, но тихие, молчаливые — это мой дом и прибежище; но какие же ватные, валкие у них лапки, эти пухлые булочные валики, липкие пышечки. Зато попадаешь туда моментально — это как учиться кататься на лонгборде. Запрыгнуть, пока он движется, и сразу же продолжить отталкиваться. Падаешь. Падаешь. Падаешь. Тридцать раз падаешь, прыгиваешь, срыгиваешь собой в эту одуванчиковую пыль, потом едешь. С бабкой тяжелее, потому что она не движущийся, а как бы стоящий на песчаной равнине лонгборд, но все равно необходимо разбегаться, запрыгивать и толкать. И дальше тоже едет, только колес у нее как будто нет, поэтому тяжело.

Любовь моя, хочу написать тебе через бабуку, чтобы ты приехал и забрал меня из больницы, я обязуюсь тебя узнать, хотя кого она может узнать, она же никого не помнит и все время пытается позвонить тому, другому, но я будто хватаю ее за руку, и этот приступ ложной памяти выпускает ее из объятий. Я не хочу, чтобы ее забирал тот, другой. Имени его я не помню, но ты вряд ли бы его забыл, ты вряд ли это забыл бы, поэтому приезжай и забирай обратно, я самый крошечный парк в этом городе, меня меньше квадратного километра пространства, и оно все твое за вычетом раскрошенных размокших голубей, которые схлынут, как коллоидный кровяной отлив, как только ты ступишь на эту священную территорию. Если ты боишься, что не отдадут, не выпишут, не поверят, уверяю тебя, все возможно: если подумать, я пишу это тебе фактически не толь-

ко из бабки уже, но в некотором смысле и из главврача, и из парочки медсестер, самых немногословных. Протиснуться в кого-нибудь из них, как в заклинившую анисовой ржавью дверцу домашнего бара, на пару спасительных минут мне не составит труда, хотя более кровавого, отвратно составленного труда видеть и испытывать мне еще не доводилось. Хлеб, которому нас скоро наспех нарвут этими черными уличными руками, еще не испекли, поэтому ничего не бойся.



Ну и вот, короче, смотри. Я подхожу к этой бабке. Маленький сквер в самом начале Бликер-стрит, не знал даже, что он там есть, три дерева, вот и весь парк. Действительно, облеплена голубями, как известковая статуя. Сразу говорит: я ясновидящая, медиум, я всем такие письма рассылаю, знаешь, сколько у меня таких, как вы, сотку гони. Я ей даю сотку, вдруг еще что скажет. Говорит, она в больнице сидит ждет. Адрес дает, я поехал.

Да, забрал, как-то удалось договориться, все почему-то мне поверили, но сама будто не узнала. Но пошла со мной, сразу пошла. На себя не похожа. Разговаривает так, как будто не до конца ожила. Всё там не до конца, не знаю. Онемело все, говорит, как будто рука отнялась, только не рука, а другое. Тело чувствую, говорит, душу нет, надо помассировать, может, вернется кровь, ушла вся кровь. Плачет, пытается вспомнить, повторяет, что где-то меня видела. Спим в обнимку, но во сне не плачет, улыбается.

К бабке ходил, но она, сука, все время сотку требует. Голуби эти еще пристают, клюются, лезут на голову, висают с шеи, как больные родственники.

Да нет, часто домой просится, плачет, пару раз с моего телефона звонила этому и говорила, что сбежала из больницы, но не понимает куда, просит приехать и забрать. Да нет, какая полиция, зачем, он, наверное, даже рад, что так вышло. Не понимаю, никогда не любила меня раньше, да и теперь не любит, я ее перед сном обнимаю, а она отталкивает и плачет. Спрашиваю, помнит ли что-нибудь, но говорит, что этого помнит, а меня нет, и от этого ей еще хуже. Ест все, что я приготавливаю. Хотя я раньше никогда не готовил, но подумал, что раз она не помнит меня, то и не помнит, что я не умею готовить. Этот перезвонил потом, узнал меня, говорит: все ясно. Надо будет к нему потом за вещами заехать или бабку послать, за сотку, да.

Нет, не врет. Но так не бывает. Бабка потом еще письмо мне отдала, говорит, давай еще сотку, тут тебе записка на упаковочной бумаге из помойки шведского магазина за углом. Письмо душераздирающее, но да, это точно от нее. И тошно от нее, ну. Мучается, конечно. Мозг, пишет, бабкин, старый, никудашный, всё там по накатанной, все эти колеи, борозды, повороты — тяжело внятно выразиться поэтому.



Любовь моя, спасибо тебе за все, что я до сих пор не могу ни принять, ни осознать; и снова я пишу тебе из этой бездонной, как водоворот, перенаселенной бабки. А ведь после всего, что так и не случилось здесь

между нашими влажными душами, так мечталось написать резвое и скачущее по гулким чугунным улицам, как мяч, из собаки, из ручья, из воробья, ведь воробей здесь иной как категория, как пятеро, семеро воробьев, вся микропопуляция воробьев самого крошечного парка в городе. Воробья не нарвать, не накрошить, как ни пытайся, он ведь сам как кровь течет сквозь пальцы. Этими пальцами и пишу тебе внеочередное, и прости, что такое разорительное, мой старбак преступен и отвратителен, и было бы проще написать тебе из пистолета, но слухи о вседоступности спонтанных пулевых ранений здесь сильно преувеличены. Я мечтала написать из напуганных иностранных студенток Новой Школы, испытывающих что-то вроде лингвистического шока, языкового заикания, вирусного грасирования, — но дальше пары строк дело не дошло. Студентка моя безмозгла, как весло, которым хочется огреть ее по бархатному загривку, кормовой голубь мой безрук и пуглив, а податливая подлодка веселой белой собаки ловка лишь в поимке чугунного мяча из давно забытого мной зачина этого письма; крыса моя на удивление удачно оснащена ловкими, будто сувенирными пергаментными ладошками, но вложить в них резвое лезвие грифеля мне все же не под силу. Что до енота моего, то енот нынешних широт не мой: разумом он нынче значительно превосходит пороговое двухлетнее дитя, а внутренний тезаурус его так шокирующе развит, что проникновение в енота невозможно, как в большинство иных невидимых городских школьников. Как жаль, что мы с тобой, любовь моя, наконец-то встретились навсегда именно там, где меня во мне почти не осталось, но лишь выжатая, выкорче-